

- все занимались тем, что одновременно в них появлялись. Мотают головами; говорят: «А мы тут дураки, — ничего не знаем!» — В. Попов. Две поездки в Москву. Л., 1985, с. 203.
- 58 Фиеста, с. 522.
- 59 М. Горький. На дне. В кн.: М. Горький. Избранное. М., 1970, с. 77.
- 60 Фиеста, с. 528.
- 61 Там же, с. 107.
- 62 Э. Хемингуэй. Иметь и не иметь. Собр. соч. в 4-х тт., т. 2, с. 632.

- 63 М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972, с. 274.
- 64 Фиеста, с. 623.
- 65 Там же, с. 613.
- 66 Отзыв видного советского литературоведа П. Палиевского. Цит. по кн.: Р. Орлова. Хемингуэй в России. Анн Арбор (США), 1985, с. 65.
- 67 Там же, с. 67. Отзыв писательницы И. Варламовой.

Л. АННИНСКИЙ ПАЛЬМЫ НА АЙСБЕРГЕ

Миражи шестидесятников
и реалии шестидесятых

Шестидесятники многое знали о себе. Знали, что они — поколение. Знали, кто их противники. Знали, что если и не одолеют противников реально (организационно, политически), то уж стиль свой создадут наверняка и этим все-таки решат главную задачу. Шестидесятники знали даже то, что они — «шестидесятники». Это самоназвание, но слышком благозвучное и не очень глубокомысленное, но полное лестных исторических аналогий, они (с легкой руки Ст. Рассадина) взяли себе с первых же месяцев начавшегося славного десятилетия. У них было завидное сознание собственной миссии.

Шестидесятники не знали другого. Они не знали, что за гранью скорого поражения (реального, организационного, политического), к которому они себя все-таки готовили, наступит такой головокружительный триумф их дела, какой не виделся им даже в миражах. И еще не знали они, как их будут понимать и судить после такого триумфа. И кто будет понимать и судить.

Их судят сейчас не противники — противники молчат или перестроились. Их судят преемники. И так жестко судят, как ни один противник бы не додумался. Даже и не «слева», куда шестидесятники из всех сил толкали (и не могли дотолкать) общество. А с каких-то совершенно немислимых для них позиций. Так что не вдруг и сообразишь, что отвечать. Ибо ответить, отбиться можно от упреков в наивности, в слабости, в бессилии; в этом плане можно отшутиться от самых язвительных обвинений и характеристик (см. полемику того же Ст. Рассадина с его молодыми оппонентами в журнале «Искусство кино»). Но как отвечать на констатации подчеркнута объективные и даже полные сострадания (в том же «Искусстве кино») о том, что благодарные идеалисты из поколения шестидесятников всю жизнь боролись с теми самыми призраками «мещанства», с идеалами «хозяина», с принципами «рынка», с инстинктами «интереса» и «потребительства», опираясь на которые те же шести-

десятники теперь должны перестраивать социализм? Именно теперь, четверть века спустя после их бурной и сокрушенной молодости, история призывает шестидесятников к практическому ответу и дает им шанс переделать мир в соответствии с их принципами.

Первую стадию перестройки они уже с блеском преодолели: словесную. Они реализовали гласность. Они произнесли и напечатали миллионы слов, раскрыли все секреты, огласили все тайны. Далее обнаружился некоторый тупик. То ли слова забуксовали в реальности, то ли реальность изощла в словах, но идеалисты шестидесятых, ставшие апостолами и активистами восьмидесятых, ощутили фантастическую неподатливость, чтобы не сказать — неменяемость жизни. Поколение мечтателей, все застойные годы ностальгически оплакивавшее свою молодость, оказалось в весьма неожиданной для себя роли практиков.

Тут-то и встает вопрос о существовании идеалов и о реальности программ. Мысль общества возвращается к шестидесятым годам — не для реваншистских славословий, а для жестких вопросов.

Как всегда, первые ответы приходят к нам с Запада. Вернее, через Запад: Петр Вайль и Александр Генис, эмигранты, издавшие два года назад в США объемистый труд под названием «60-е. Мир советского человека», — настоящие и неподдельные родимые наши шестидесятники, здесь сформировавшиеся и душой оставшиеся. Достаточно послушать их нынешние радиорепортажи или прочесть статьи Гениса в «Огоньке», чтобы убедиться: душой они по-прежнему здесь и понимают нашу реальность глубоко и точно. Запад лишь помог им технически: довести до печати то, чего мы как читатели ждем здесь. Книга Вайля и Гениса — факт нашей реальности, а главные адресаты этой книги — мы с вами. Теперь мы имеем возможность прочесть одну из глав (из восьми глав) книги и убедиться в осведомленности и проницательности авторов. Хотя, конечно, «Интервенция» (глава, весьма подходящая по «профилю» журналу «Иностранная литература») объема и содержания книги далеко не исчерпывает.

Чтобы читатель лучше представил себе целое по части — несколько слов о том, как построена вся книга. При всем разбросе ее границ (от Кубы до Соединенных Штатов и от Сибири до Израиля) и уровней интереса (от таких вершин, как Солженицын и Сахаров, до анекдота... впрочем, анекдот — выдающееся жанровое достижение советского быта... до бы-

та, до элементарного быта: «что носят, что пьют») — при всей горизонтальной и вертикальной «распяченности» своего исследования Вайль и Генис выстраивают его весьма продуманно и даже красиво.

Две части — вернее, две «книги» в книге. Первая — состояние жизни в 60-е годы. Вторая — динамика. Или так: первая — вход в драму: идеалы, мечты, концентрация энергии — восхождение. Вторая — выход: бессилие, крах, распад, разрушение. Или так: первая книга — миражи, горизонты, вертикали — драма шестидесятников. Вторая: реальность, провалы, противостояния, капитуляция — драма шестидесятых, в которые не одни же мечтатели жили, но и оппоненты. Картина эпохи, поглотившей своих идеалистов.

Каждая «книга» состоит из четырех глав, каждая глава — из трех очерков. Восемь глав — двадцать четыре очерка.

Начало: «Фундамент утопии». Коммунизм как программа, цель и предзаданный путь. Космос как воплощение пьянящей логики — мания восхождения. Поэтическое словоупотребление как метод ориентации в пьянящем пространстве (от Хрущева — «поэта в политике» до Евтушенко — политика в поэзии).

Далее — «Интервенция»: раздвиг по горизонтали. Стрелы влюбленной экспансии: Европа, Куба, Соединенные Штаты. Опьянение мировой культурой, опьянение мировой революцией (весьма кстати воскресшей на «Острове Свободы»), опьянение соперничеством с главной державой Запада.

Далее — раздвиг в собственное пространство. Культ Сибири. Переосмысление Великой Отечественной войны (от фанфар — к опыту страдания). Культ науки («злог будущего»).

Наконец, раздвиг «внутрь», в толщу, в быт, в празднично-наркотическую повседневность, никогда уже после 60-х годов не повторившуюся. Оптимизм школы. Молодая романтика — лейтмотив времени. Юмор, насквозь пронизывающий жизнь. Что-то легкое, летящее, воздушное — оптимизм без оснований, романтика без почвы, смех без причины. Веселье одержимого духа.

Теперь — стадии разрушения.

«Гражданская война» журналов: «Новый мир» против «Октября». Война, продолженная профессионалами политики — «диссидентами». Продолжение профессионалами аполитичности: жрецами богемы, абсурда, авангарда.

Дремлющая ярость масс. Спорт ради «гармонии», без цели победить, вырождается в «большой спорт», в гонку чемпионов. Маяки, герои, вожди. Хрущев — символ эпохи: напор, эклектика, иррациональное сочетание романтического бреда и народной сметки. Сотрясение почвы: иллюзия «наднациональной» общности начинается ползти под ударами первых этнических разломов.

Этапы распада. Пророчество Солженицына. Крах атеизма, подкошенного возвращением русской религиозной философии. Крах «империи», обнаружившей, что она в с я состоит из «окраин», из «провинций», из «сырьевых придатков», из безнадежных «дыр».

Эпилоги. Исход в Израиль («евреи» как тема некогда запретная, а теперь вышедшая из-под запрета в гласность, то есть в неразрешимость, ибо именно еврейство оказывается особенно спаяно с революцией, с «советскостью»). Исход в Прагу («пражская весна» — последнее прибежище подлинного социализма, раздавленное танками). Исход в Перестройку... Что в остатке? Грандиозный поток слов — все, что остается от «советского человека» как такового.

Мозаичность моего конспекта, до некоторой степени передающая мозаичность стиля книги (а этот стиль под стать самим 60-м годам) не должна обманывать читателя: книга Вайля и Гениса построена вокруг четкого глубинного стержня, хотя парадоксальность монтажных сопоставлений «верха» и «низа» в ней, находчивость авторов в конкретных описаниях (иногда просто виртуозная) может читателя от этого стержня отвлечь. Но чувствуется стержень все время. Причем, как и положено по художественной логике, интонационно. Обертона переключаются с разных концов этой пестрой, несколько карнавализованной картины. Адепты «Октября» и «Нового мира» ведут между собой непримиримую войну; и те и другие не без оснований уверены, что они осуществляют волю партии и спасают социализм. Повальная вакханалия юмора, бессмысленной веселости, «животного хохота» охватывает людей 60-х годов, выдавая в них внезапно освободившихся узников. Круг безумия роднит безнадежно упрямых диссидентов — прирожденных политиков, и бессмысленно упрямых авангардистов — прирожденных художников. А еще — фантастическое отношение к Европе: пальмы скрещиваются с березами, презрение к «мещанству» сливается с завистью к той культуре, которая «мещанством» выстроена. А еще — обезьянье подражание ненавистной Америке, напяливание на себя хемингуэвского свитера, когда подразумеваемая многозначительность («подводная часть айсберга») прикрывает полнейшую пустоту. Нетрудно уловить лейтмотив в этой музыке: наивность, иллюзии, самогипноз, жизнь под псевдонимами, опьянение игрой, вживание в роли, лунатическое воодушевление за мгновение до того, как обнаруживаешь себя на краю... Нетрудно понять и источник подобной психологии. Вайль и Генис пишут портрет шестидесятников, хотя материал и тема книги шире: шестидесятые годы, а они включают в себя огромное богатство реалий, далеких от опыта шестидесятников. Однако восприняты эти реалии — именно их глазами, и точкой отсчета является их психология: опыт зачарованных, загипнотизированных, не чующих под собой страны мечтателей.

Либо материал воспринят от их имени, либо не воспринят вовсе, то есть трактован как внешний, чуждый, враждебный, неожиданный, гибельный — не свой. Творчество Людмилы Зыкиной, конечно, существовало в 60-е годы, признают Вайль и Генис, но — «на периферии» культуры: и тематика не та, и темп не тот. Солюхин и Шукшин, Белов и Распутин возникают в книге неизвестно откуда, от каких-то не-

понятных начал, они высказывают из-за кулис как роковые могильщики 60-х. Солженицына за кулисы не удалишь, его не обойдешь, не объедешь — так он трактован как автор лагерной темы (то есть как шестидесятник); в свете этого «Матренин двор», явно нарушающий картину, приходится дезавуировать; Вайль и Генис делают это добросовестно, не гнушаясь поисками стиливых орехов в тексте рассказа, хотя духовную силу его оспаривать не рискуют.

Так ведь сила-то эта от орехов не исчезает! Зыкина, конечно, «на периферии» — если отсчитывать «от Бродского», но если отсчитывать «от Зыкиной», — на периферии оказывается сам Бродский. Вайль и Генис, собственно, это и чувствуют, с поразительной пронизательностью открывая в поэзии Бродского овидиеву драму: изгнанничество, отпадение за край, за пределы, в невесомость. «С точки зрения империи» — это бегство из нее, из ее «провинции». Но куда бежать, если «империя» — вся — стала беспросветной провинцией? Отсчет во всем этом рассуждении идет от «центра»: от «имперского» (универсального, мирового) начала. Конечно, и Солоухин с Беловым окажутся при таком отсчете «за пределами» (правда, с другого, чем Бродский, боку). А если их, Солоухина и Белова, начало: «провинциальное» (то есть земное, почвенное) принять за такое же начало, — чьими тогда окажутся 60-е годы? «Привычное дело» Белова прогремело в 1966 году. О Шукшине-писателе заговорили с 1963-го. Солоухин вошел в силу еще раньше. Так кто же первым застолбил «этот участок», это славное десятилетие? И кто имел право дать ему имя?

Вообще замысел Вайля и Гениса: портрет шестидесятых через портрет шестидесятников — поддается реализации лишь при изрядной виртуозности (что они и демонстрируют). Реальная-то драма началась раньше. Не 1961 год пробудил шестидесятников — их пробудил 1956-й. Был переходный период от смерти Сталина до Двадцатого съезда партии, а потом — взрыв, взлет, раскрытие драмы. Оттуда — и Эренбург с «Оттепелью», и Солоухин с «Владимирскими проселками». Оттуда — а не из 1961 года!

Финал драмы тоже не так сценичен, как написано у Вайля и Гениса. «Очнувшись, культура эта (культура шестидесятников. — Л. А.) резко свернула в сторону (в сторону Белова и Распутина. — Л. А.). Как только она осмотрелась, тут же выяснилось, что в веселой атмосфере праздника забыли про национальные корни, про заветы предков...»

«Осмотрелись... выяснилось... забыли...» Оно, конечно, и осматривались, и вспоминали, и «брали поправки», да ведь не от этих спохватываний, не от исправления орехов зависел большой ход событий! Шло мучительное проникновение новой для нас либеральной психологии в толщу народа («советского народа»), и по мере проникновения прояснялась истина; увы, она, эта истина, была страшна: ни к либерализму, ни к легкой веселости, ни к бодрой соревновательности народ был и не готов, и вообще не склонен. И эта истина

существовала, лежала в глубинных слоях, таилась в подводной части айсберга до того, как ее поняли и смирились с нею шестидесятники, созерцавшие сверху миражи из пальм вперемежку с березами. Шла всеобщая драма трезвения, предсказанная русскими философами, предсказанная Степуном, предсказанная авторами «Вех». Драма огромная, глубинная, народная. На фоне которой частный случай духовного опьянения, испытанного шестидесятниками, — всего лишь частный случай. Хотя описан он как законченная драма по всем законам: с экспозицией, завязкой, кульминацией и развязкой.

Эпоха Двадцатого съезда для Вайля и Гениса — не более чем экспозиция (для меня — завязка). Завязку же ищут они — в начале десятилетия. Но что было в 1961 году? Полет Гагарина? Но до него был в 1957-м полет спутника. Оформление новоявленной критики? Но статья Померанцева была в «Новом мире» лет за семь до этого. Поэтический рейд Евтушенко в Бабий Яр? Но роль «канфан-террибля» Евтушенко играл с середины 60-х.

Вайль и Генис избирают для завязки другое, более важное, с их точки зрения, событие 1961 года. Какое же? Опубликование Программы КПСС. С нее, как они убеждены, все и началось.

Господи... да кто ж ее, Программу 1961 года, читал из шестидесятников всерьез! Не говоря уже о старых скептиках вроде И. Эренбурга, ведь даже молодые люди моего поколения успели понять, что все это вилами по воде писано! Уже ведь произошел, уже состоялся погром «Доктора Живаго» в 1958 году. А за год до того — погром «Литературной Москвы». И погром Дудинцева. Какие там иллюзии! Да я отлично помню, с каким ленивым любопытством прислушивался к чтению Программы (по радио часами читали) я, типичный идеалист-шестидесятник. Занимали всякие частности вроде бесплатного транспорта, да и то с ощущением налета прожектерства, но, впрочем, и не без сочувствия (а вдруг получится?), а общее содержание наглухо было отделено казенным занавесом! Он и говорят, он и обещают, он и надеются.

А мы?

А мы чувствовали только одно: идеальный строй, живший в нашем сознании, не находит опор, «не чует» под собою «страны». Мы боялись, что все это разрушится, мы судорожно искали почвы — и не находили. Народ был не таким, каким представлялся в статьях новомировской критики (про «Октябрь» и не говорю, хотя и там были люди, искренне искавшие выхода, например, Дмитрий Стариков). О ж и д а н и е р а з в я з к и было нашей драмой. Я подчеркиваю: не ожидание триумфа Утопии, до которой следовало, «осмотревшись», дотянуть реальность, а ожидание краха Утопии при неотвратимом столкновении с реальностью. Только вот пути и судьбы, формы и сроки, мизансцены и варианты драмы таились в тумане. Это и мучило.

Вайль и Генис по-своему логичны, заключая драму шестидесятников в раму 60-х: это связано с тем, как они понимали существо, содержание драмы. Начинается

у них — с Программы («нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме») и кончается — гибелью последнего живого ростка этого самого коммунизма («социализма с человеческим лицом») в Праге под танками 1968 года. Стать быть, имя драмы — Коммунизм.

Так я отвечаю Вайлю и Генису, что это не драма. Это только название, или даже псевдоним, драмы. Причем такой всеохватный и мало что говорящий псевдоним, который лучше всего оставлять вообще за скобками. Искренне верившие в коммунизм сталинцы уничтожали в 1937 году искренне веривших в коммунизм ленинцев, а те за полтора десятилетия до того, так же искренне веря, уничтожали эсеров, меньшевиков и анархистов. Впрочем, у этих последних в ходу чаще был другой псевдоним: мировая революция. Но так-таки вы можете себе представить реально жизнь мира при непрерывной (перманентной) революции? А коммунизм где-нибудь кто-нибудь видел хоть на мгновение реально осуществившимся? Разве что в масштабе кибуца? А может быть, в воображенной «отсюда» первобытной общине? Или в «идеальной семье», где царит душевное понимание? Это ж метафора, «вечная мечта человечества» — так в качестве мечты, в роли идеала она и интересна. А уж какие реальные очертания принимают: алюминиевых дворцов, фанерных барачков или шлакоблочных коттеджей, — это уж от стройбазы. В чем и суть. Мы о чем, о реальности говорим? Так даже тот «реальный социализм», который мы на «одной шестой части суши» вроде бы построили, да так реально, что никак из него не выберемся, — и он никак с теорией не ладит. И спорим: что же это мы такое построили, и не лучше ли за «реальным социализмом» сходить к шведам? Тогда о чем говорить! Зачем вообще сотрясать воздух, если даже по Вайлю и Генису реально осуществился этот самый социализм весной 1968 года в Праге на одно мгновение, чтобы тотчас погибнуть под советскими танками? Интересно, а сколько бы продлилось «мгновенье», если бы не танки? А опыт 1989 года в той же Праге (и с тем же Дубчеком) не наводит на размышления? А может быть, прав Оруэлл... нет, я не про антиутопию «1984», уже несколько изжеванную и поднавязшую в зубах, — я про замечательный очерк об англичанах, где Оруэлл замечает, что его народ, тысячу лет решающий свои жизненные проблемы, умудряется делать это, вообще не прибегая всерьез к терминам «капитализм» и «коммунизм»?

Да, мы к этим терминам прибегали всерьез. Мы к ним были привязаны, ими опьянены, очарованы. Но теперь-то можно уже отойти от магии псевдонимов?

Спору нет, пятясь от Сталина к Ленину, мы старались удержать и «коммунизм», мертвец прикованный в нашем сознании к «семнадцатому году». Вернее, наоборот, «семнадцатый год» был прикован к «коммунизму»: истоки же последнего были глубже «Октября», они тянулись из миро-

вой истории, были связаны с фундаментальными ценностями духа, с опытом тысячелетий, с Афинами, с Иерусалимом...

Ах, да, чуть не забыл про Рим. Про «Третий Рим». Но ведь и эта сторона русской жизни, и этот опыт, и эта генная память коренились в реальности, а вовсе не были «занесены» к нам в 1917 году. Сталин, конечно, мало походил на христианского миссионера (при всем его религиозном образовании). Но он весьма походил на Ивана Грозного (тоже религиозно образованного), на Ивана III (тоже «Грозного»), на всех великих государей, крепко сидевших на покатою восточноевропейской равнине. Это тоже пришло к нам «из вечности». В том числе и принципы вроде «один за всех, все за одного». Вайль и Генис предпочитают цитировать эти принципы из «Третьей Программы КПСС», но ведь в Программу КПСС они попали из векового русского опыта, из общинной цепкости славян, из кровного побратимства скифов, и это было здесь, рождалось и жило на этой земле, в пору, когда не только призрак коммунизма не начинал еще бродить по Европе, но и призрак Российской империи даже отдаленно не брезжил в ваяжских головах.

И все это оказалось, как теперь выражаются, имплицировано в души шестидесятников не Программой КПСС, а вековым опытом народа и тихо таилось за вывеской коммунизма. Пришел час — всплыло. И потому на плечах шестидесятников смогло выстроиться дальнейшее.

Я вовсе не говорю, что дальнейшее оказалось нам по плечу. Нет, драма только обнажилась, и она еще не исчерпана. Суть этой драмы в том, о чем я уже сказал в самом начале: весь опыт, весь духовный состав, весь генофонд шестидесятников, построенный на примате идеи над материей, на коллективистских, «соборных» ценностях, фатально расходится с той задачей, перед которой ходом вещей оказалась теперь страна: перед необходимостью рыночного дробления и собственности индивидуальной ответственности. Вот почему я думаю, что не нам достанется осуществить этот поворот. Но мы все-таки сделали то, что досталось нам: преодолевая инстинктивный страх и внутреннее отращивание, мы на него решились. Будущее покажет, останутся ли в памяти истории люди 60-х годов XX века и какими останутся. То ли как слабый розовый отсвет отошедшего багрового зарева. То ли как мимолетная блеска на изломе истории от «трагического, разобщенного облика современного европейца» к «духовной гармонии Азии».

Последние формулы — из книги Вайля и Гениса.

Все факты и формулировки, на которые я опираюсь в споре с ними, я могу взять у них же, из их честной книги.

Маленький поворот «хрусталика» — и огромный материал, ими собранный, осмысленный и изложенный, — становится живым и нужным вкладом в наше теперешнее самосознание.